

## Обратная перспектива

\* \* \*

В Новосибирске ставят Мариво —  
страна местами даже ничего,  
и в этой ничего себе стране  
отыщется местечко и по мне.

В конце концов, культура — только пшик,  
и жив еще камаринский мужик,  
он вытопчет и тот надел, и тот,  
глядишь — а сбоку снова прорастет.

Вот и растет: кривое, как-нибудь.  
И вдруг сожмет, и вдруг заночует грудь,  
когда сверкнет из ватной пустоты  
осколок непонятной красоты.

\* \* \*

"Я слепну и глохну", — сказал мне поэт  
смешных, по сравнению с вечностью, лет.  
Я выглядел рядом мальчишкой —  
но другу ответил одышкой.

На улице было светло и грешно,  
и музы порхали неслышно,  
и прошлое в нас незаметно вошло,  
и тут же грядущее вышло, —  
как будто двоих не приветит Господь  
под ветхою крышей по имени плоть.

Мы пили, как то повелось на веку,  
а выпивши, в кои-то веки  
мы кинули нищему по медяку  
под песню о вечном калеке  
и вновь пировали в кругу доходяг,  
втроем пропивая последний медяк.

Крутилась монетка, нам судьбы края,  
пока мы сидели, сутулясь.  
И время вернулось на круги своя,  
а может быть, круги вернулись,  
когда мы сбирались в неведомый путь,  
в заветную щелку на волю взглянуть.

Мы вновь оказались в былом забыты  
надежной, проверенной пробы:  
здесь левой рукою сошьют нам статьи,  
а правой — тюремные робы.  
В застенке, где разве что нюх не отбит,  
лишь пес выживает — и тот инвалид.

Все громче звенит молодая броня  
в предчувствии скорого гона.  
И некто, похожий на череп коня,  
сверкнув чешуею погона,  
нас свяжет узлом, как последнюю кладь.  
Не видим. Не слышим. И нечем дышать.

### **Белые ночи. Танго**

Больные мальчики, кто с печенью, кто с астмой,  
еще не чувствуя судьбы своей несчастной,  
сходились в сумерках, шушукались впотьмах,  
как век-другой назад, о славе и стихах.

За окнами страна, привыкшая к насилию,  
шла врукопашную с войсками туч и птиц,  
и глухо оседал чахоточною пылью  
в пазах ленмебели вечерний шум страниц.

Соседи в потолок вели прямой наводкой  
огонь шампанского, сорвав с него засов;  
шипело радио шершавой сковородкой  
на адском пламени партийных голосов.

По бледным улицам всеильные плакаты  
свой устанавливали колер и размах,  
покуда немощные призраки блокады  
еще скрипели половицами в домах.

Стук метронома, перестук души и плоти,  
и шаркал дворник, и свистели поезда,  
и время билось, как пластинка на излете:  
"Идеи Ле... Идеи Ле... и побежда...".

Больные мальчики глядели в серый омут  
окна, прилипшего к бескрайнему двору,  
а зацепившийся за флаги серп-и-молот  
плел золотую паутину на ветру.

\* \* \*

Дудочка, дудочка, дочка трубы,  
спой двоекратным ду-ду,  
как мы брели по извивам тропы,  
громко смеясь на ходу.

Маленький мальчик дудел и дудел,  
но до гуляк молодых  
даже у Господа не было дел,  
не было дел никаких.

Шел по земле нарастающий гул,  
слышимый лишь в небесах,  
это за лесом Чернобыль рванул,  
ветром и ливнем пропах.

Мы прорывались, нахальные, сквозь  
заросли в птичьем пуху.  
Сладко нам елось и пьяно пилося,  
и голубело вверху.

Маленький мальчик дудел и дудел,  
но до рулад золотых  
все-таки не было Господу дел,  
не было дел никаких.

\* \* \*

Мы живем в обратной перспективе —  
все, что к детству, ярче и острей.  
В этой жизни многое красивей,  
чем узнали мы из букварей.

Эка хитрость — лечь и не проснуться!  
Нет, проснуться — и увидеть, как  
с теплой сыроежки, словно с блюда,  
птица пьет, смакуя, натошак!

### **Ящик стекольщика**

Ходит по городу рыжий стекольщик. Висит у него на спине  
сказочный ящик на толстом лохматом ремне.  
И по утрам с незапамятных пор  
небо верхом на стекольщике шумно въезжает во двор.

Ящик стекольщика — планки, дощечки, бороздки,  
этот магнит, на который бегут из подъездов подростки, —  
вот он стоит посередине двора, а стекольщик слоняется рядом,  
шаря по окнам внимательным взглядом.

Стекла сверкали под солнцем, — и я вспоминаю:  
"Сте-е-екла вставля-я-яю!.." звучало как "Со-о-олнце вставля-я-яю!..".  
Стекла давили друг друга невидимым грузом.  
Стекла, как яблоки, в стружке — с хрустальным надкусом.

Самые тонкие — стекла оконные — с блеском;  
стекла потолще; особое место — стеклянным обрезкам;  
самое толстое — с гладким и радужным краем —  
мы покупаем!

Это стекло со следами сырыми  
туч, отражавшихся в нем, где сверкал в исчезающем дыме  
маленький, сбоку, стремительный скол,  
мама купила на письменный стол.

Сколько хлопот мне стекло это в детстве доставило!  
Руку сгоняло с тетради, каракули правило,  
то в небеса ускользало ковром-самолетом,  
то распевало весенним дождем, как по нотам...

Не оттого ль, точно ящик стекольщика, полон мой  
письменный ящик  
звоном и гулом гортанных, губных и свистящих?  
Не оттого ль наяву и во сне  
небо, как рыжий стекольщик, ношу на спине?

\* \* \*

Ненавижу прошлое за то, что  
было все не так, не там, не то,  
ненавижу прошлое за тошно-  
творное, топорное пальто,

за носки, стоящие под стулом,  
за тупую нищенскую снедь,  
за проклятье вечно быть сутулым,  
лишь бы на соседей не смотреть,

за вранье, за стыд, за обжималки  
по углам, за гонор взрослых "ты",  
за подлянку мелкую, за жалкий  
детский бред, грошовые мечты —

эти байки, сказочки, конь о конь,  
жажда бегства, пот и страх погонь...  
Отрочество! Что это за погань!  
Да пожрет его святой огонь!

Чтоб о нем не ведая, не зная,  
в детство наигравшиеся всласть,  
прямо из младенческого рая  
мы могли бы в молодость попасть, —

а тогда одуматься, проснуться  
и себя догадкой ослепить,  
что без этой боли и паскудства  
настоящей жизни не слепить.

### Машина времени

Мужчины в усах, элегантные модницы в креслах; она —  
с веером, он — с цепочкой, фикус — в сторонке;  
фон размыт, в никуда исчезла стена,  
зато навсегда отпечаталось имя фотографа на картонке.

Дети — мальчик и девочка — смотрят на вас, затаив  
дыхание: там, перед ними, дядька залез под черную тряпку,  
и птичка, пока их бледные лица впитывает негатив,  
никак не может сорвать веревку, что держит ее за лапку.

Край оборван. На молодом человеке фуражка; рядом с ним  
кто-то стоял; заметно, как на обороте  
по выцветшей фотобумаге выпукло выведено "Дорогимь..." —  
надпись, как в зеркале, и обрывается на полуноте.

Серый квадратик. Девушка с длинной косой.  
Прищуренные глаза слепит неприкрытая лампа.  
Справа, внизу, там, где сердце, — пустой уголок косой  
и смазанный след фиолетового штампа.

Двое в цехе. Рядом с ними — замысловатый станок.  
На мужчине спецовка, женщина в косынке и фартуке.  
Кто-то на заднем плане. И в несколько строк:  
"От треугольника фабрики..."

Что-то вроде поздней осени или ранней весны.  
Голые деревья. Группа автоматчиков возле дота.  
Вечный огонь желтизны,  
в котором почти растворились, пропали оставшиеся на фото.

Остросулая женщина с седым завитком у виска.  
Девочка прижимает к груди тряпичного краснофлотца.  
Наискось бегло: "С любовью на фронт из Ка..." —  
то ли "...зани", то ли "...раганды" — теперь уже не прочтется.

Барочный обрез, завитушки. К ногам загорающих стариков  
подбираются волны, застыв на секунду.  
Старуха в шезлонге. По трафарету вдоль облаков:  
"Приезжайте в Пицунду!".

Женщина с мальчиком. Ребенок на деревянной лошадке.  
Ученик с книгой "Витя Малеев в школе и дома".  
Подросток. Юноша. Юноша. Юноша. Что ни миг  
время стопорится, истончается, как листы альбома.

Металлическая застежка, год за годом прижав и сжав,  
состыковывает переплеты, словно выглаженные огранкой.  
Отблеск падает на стену: "привет из Аф..." —  
окончание пропадает под черной рамкой.

Санкт-Петербург

